

ЭСТЕТИКА И ФИЛОСОФСКАЯ ИСТИНА

М. Ф. Литвинов

Воронежский государственный университет

Поступила в редакцию 15 февраля 2015 г.

Аннотация: статья посвящена вопросу о границах чистой философской мысли. Через критическое осмысление той роли, которую играет эстетическая составляющая в философском акте, рассматривается возможность дискурса об истине.

Ключевые слова: эстетика, эстетическое, рефлексия, истина, разум, чистый разум, рассудок, воображение, чувство, созерцание, реальность, объективность, идеология, произведение.

Abstract: the article is dedicated to the question of borders of pure philosophical thought. The possibility of a philosophical discourse about truth is considered through the critical judgment of the role of an aesthetic component in the philosophical act.

Key words: aesthetics, aesthetic, reflection, truth, reason, pure reason, mind, imagination, feeling, contemplation, reality, objectivity, ideology, work.

Да. Лучше поклоняться данности
с убогими ее мерилami,
которые потом до крайности,
послужат для тебя перилами
(хотя и не особо чистыми),
удерживающими в равновесии
твои хромяющие истины
на этой выщербленной лестнице.

Иосиф Бродский. Одиночество

Истина эстетического восприятия – не самая удачная формулировка для описания того, что способствует странному и едва уловимому эстетическому удовольствию. Вернее, она требует уточнения. Сама по себе категория истины даже с точки зрения такого ее поборника, как философский рационализм, всегда критически настроенного по отношению к налично данному, никогда не избавлена от аффирмативности присутствия. Между тем эстетическое, в котором так отчаянно нуждается чистая мысль, провоцируя дискурс о реальном, провокативно отказывается в возможности располагать¹ такой наличествующей истиной, вынуждая

¹ Эстетически данная истина ввиду самой формулировки не есть нечто недоступное, а даже наоборот, как целиком и полностью завладевающее нашим трепещущим перед ее ликом существом находится в пределах досягаемости. Нечто нас касается. Но, тем не менее, при всей реальности этого касания, при всей серьезности сюжета, темы, эмфатически взыскующих признания наличия некоего сокровенного содержания в том или ином произведении, которым и можно было бы

фаустовское мышление двигаться в направлении бесконечности процесса по ее утверждению, сопровождая сей акт чувством (экзистенциальной) тревоги (*angoisse* фр.), схватывающей со всей очевидностью лишь необходимость (ре-)конституирования непрезентного присутствия истины, или, что то же самое, ее отсутствия (в данном). Положенный, а точнее, вновь и вновь полагаемый всеми возможными философскими средствами характер непрезентного присутствия истины показывает практическую невозможность обойтись без интуиции ее уже-наличия даже в том случае, когда она, бессильная и *ничем не гарантированная*, еще только «взывает» к своему осуществлению. Причем взывает экзистенциально, вбирая человека в свою ширящуюся орбиту с отсутствующим центром в ничто, подчиняя существование задачи преодоления субъект-объектной разорванности; подчиняя экзистенцию до конца нетематизируемой (бессознательной) сущности.

Свое утверждение истина превращает в тавтологию рассказа (фр. *récit*), поддерживающую и это утверждение. В конечном итоге, истина может быть выказана единственно с опорой на саму себя, поскольку именно она и есть истина. Динамизм истории пресуществления истины (как он описан гегелевской системой) не отменяет кругового, возвратного характера движения мысли к своей собственной идеальной сути: недостижимый *telos* манящей истины только сильнее отбрасывает к ее сокрытому и темному *arche*, где конституирование уже неотлично от реконституирования заведомо присутствующего Блага, Единого, Бога, Субстанции, Духа или же самосказываемого Бытия, Перводвигателя. Этот зацикленный способ обращения философской мысли, прочитывание действительного в реальном которой неотлично от рецитирования (фр. *réciter* – прочитывать; фр. *citer* – цитировать), есть «дурная бесконечность» умножения «истинной» бесконечности, заведомо признаваемой наличествующей. Дурная бесконечность здесь продуцирована ничем иным, как дискурсом утверждающей себя истины, риторикой подлинного, концентрирующей в силе агрессивно-разумно осуществляющейся государственности, только поддерживающей и воспроизводящей посредством внешней всеобщности анархию гражданского общества. Идеалистическая истина, а другой, как мы знаем, не существует, на пике своего свершения преодолевает абстрактную внешность связи субъективного и объективного, сметая (правда, все же мысленно²) всякие

располагать, необходимо помнить об условной, ускользающей в толковании сути *любого* творения.

² «В этом обществе человек по-прежнему подчиняется непреодолимым законам экономического развития, а сам должен сдерживаться сильным государством, способным справиться с общественными противоречиями. Исходя из этого окончательную истину надо искать в другой сфере реальности. Этим убеждением проникнута вся политическая философия Гегеля и такую же печать смирения несет на себе «Наука логики» [1, с. 218]. «Только мысль, чистая мысль отвечает требованиям совершенной свободы, ибо мысль, «мыслящая» себя, всецело существ-

ограничивающие свободу субъекта пределы. Однако этот смелый жест, на который решается «чистая мысль», обещая истинную тотальность, бесконечно продлевает себя отсрочкой и возвращает к необходимости своего свершения, а вернее – *провозглашения*.

Объект есть то, чему следует логика, формирующая свои категории с оглядкой на нечто, что этими категориями фиксируется; объект есть то, чему следует мысль или подлинный субъект, миметически перенимающий в овнешнении объектную логику противоположения, открывая в ней истину бытия субъектом. «...Объективный мир становится посредником в самореализации субъекта, который познает всю реальность как свою собственную и не имеет никакого объекта, кроме себя самого» [1; с. 216]. Но тем самым, *необходимая* критика абстрактной полярности субъективного и объективного теряет смысл, она компенсируется *нечуждостью* «своего иного», препятствуя пониманию овнешнения мысли как ее выхода к своему пределу, доступному лишь (а)эстетически. Направленность мысли к конечной своей цели – осуществлению свободы – сдержана самой мыслью, предполагающей непреложную, пребывающую (*в себе самой, у себя* или же *в другом как у себя*) истину (по крайней мере, именно к такому выводу подводят нас критические размышления представителей франкфуртской школы). Получается, что подчинение как оппозиция свободному самосозиданию не есть нечто однозначно препятствующее раскрытию подлинных потенциальных возможностей того или иного сущего, поскольку оно совершается не вопреки, но во многом благодаря артикуляции того позитивного содержания темы самостояния сущего, к которому сводится в итоге любой дискурс о свободе. Свобода же, или мысль, влекомая к истине, мысль как истина, негативна, причем в двойном отношении. Она отсутствует в качестве истока, поскольку в противном случае она, как вынесенная за границы временного определения, была бы сомнительной для питаемого ею же самой скептического взгляда. Одновременно она отсутствует и в качестве целенаправляющего *начала*, которым истина могла бы быть, будучи уже наличествующей. По меткому выражению Жан-Люка Нанси, «афаллическое и ацефалическое»³ – вот чем на поверку оказывается чистая философская истина, являющая собой дискурс без начала и конца.

Однако такое положение дел, безусловно, неудовлетворительно для деятеля. А уверить сознание, взыскующее прочного основания для преобразующего мир действия, в действительности проявившегося на горизонте и поддающегося однозначной расшифровке того или иного знака, знаменая (*nomen est omen* – имя – уже знамение (лат.)) – это ли не настоящее предназначение ... мысли, объясняющей что есть такое наш мир? В то же самое время не есть ли это подспудно свершающееся уве-

вует для себя в самой в своем ином; она не имеет никакого объекта, кроме себя» [там же, с. 217].

³ «Мы всегда указываем в сторону смысла: там, где его нет, мы не чувствуем дна (это Платон пустил нас на дно, клянусь телом Господним)» [2, с. 35].

рение в подлинности обращающейся к нам истины, не есть ли эта капитуляция (разума) перед фактом одной единственной и непреложной реальности, не есть ли эта рационализация только действие романтически вывернутой в мир и, одновременно, бесконечно отстраненной от него⁴ эстетствующей части нашего же разума, идеологически сглаживающего всякую прерывность и от того – перестающего удивляться и критически мыслить? Следует утвердительно ответить на эти вопросы. Конечно, романтизм, присутствующий в притязаниях располагать «свободно» творимой разумом мировоззренческой синтетикой (или, если угодно, цельной картиной мира), которая а priori не может быть позитивной, ибо не может быть фактом, вряд ли возможен вне вспомогательного участия открещивающейся от эмпирии и воспаряющей в ноуменальные сферы эстетической способности восприятия⁵, столь чуткой к телеологической связности всего сущего. Все эти замечания верны, однако не стоит при этом абсолютным образом связывать идеологию и лирику, лишь в какой-то мере способствуя (особенно после критики Германом Когеном романтической составляющей философской мысли) развитию славной традиции, разоблачающей пантеизм, романтизм или же онтоологию, но все же именно этим сопоставлением препятствуя действительному ее свершению. Лирика должна оставаться лирикой, а не идеологическим гипостазированием мнимых сущностей, растворяющих в себе пылкие и по-сартровски искренние сознания. Лирика должна быть определяемой, т.е. обуславливаемой чем-то, что от нее в ней самой ускользает и не подчиняется хрупким «абсолютным» меркам⁶. И это определение ей может дать (в том числе эстетически) эстетика как учение, как критическая теория, которая, однако, не спешит забыть о главенствующей роли способности суждения, направляющей – без какой-либо определенной и заранее заготовленной цели – творческий философский поиск, но акцентирует на ней свое пристальное внимание. Это определение может дать только *теория*, театральным жестом⁷ разоблачающая бесконечную серьезность мысли, отринувшей игровую условность, с которой было по-

⁴ Здесь стоит вспомнить адорновскую критику автономии искусства, которую он разворачивает в своей «Эстетической теории»: «Когда оно [искусство. – М. Л.] воспринимается строго эстетически, как раз эстетически-то оно и не воспринимается как следует» [3, с. 13].

⁵ «Эстетическая производительная сила – та же, что и сила, применяемая в процессе полезного труда, и обладает той же телеологией; и то, что можно называть эстетическими производственными отношениями, все, в чем обнаруживается действие производительных сил, и все, к чему они прилагаются, все это отложения или отпечатки общественных производительных сил. Двойственный характер искусства как явления автономного и в то же время как *fait social* выступает непрерывно в зоне его автономии» [там же, с. 11].

⁶ «Он позволяет своим стихам кружить вокруг себя, как планетам вокруг солнца; он становится центром малой вселенной, в которой нет ничего чуждого, в которой он чувствует себя дома, как дитя в утробе матери, ибо здесь все сотворено из единой материи его души» [4, с. 226].

⁷ «Наука и осмысление» М. Хайдеггера [5, с. 238–253].

ложено ее содержание. Это определение может дать пародирующий претенциозность чистой мысли театральный жест, становящийся мыслью в этом диалектическом и полагающем процессе, имя которому все тот же дискурс. Так Милан Кундера, обличая благодетельность карикатурного поэта Яромила в произведении «Жизнь не здесь», делает это все же художественными средствами, и в итоге замечает: «Яромил – поэт, наделенный чуткостью и большим воображением. Это тонкий юноша. И вместе с тем это чудовище. Но его чудовищность как возможность присутствует в каждом из нас. Она во мне. Она в вас. Она в Рембо. Она в Шелли. Она в Гюго. Она присутствует в каждом молодом человеке всех времен и всех режимов» [4, с. 316–317]. Она присутствует в каждом человеке – опасная возможность ослепленного и праведного гнева, подогреваемая со всех сторон гуманистическими учениями. Но она распознаваема, и как раз той реальностью, чью силу всегда стремится использовать идеология, желающая странного союза поэзии и полиции, замечающая по поводу этой странности: «Почему бы и нет?!». В конечном итоге, чудовищность, попустительствующая преступлению, воспевающая и оправдывающая преступление, облачая его в помпезные, патетические формы⁸, не терпит веселого и свободного духа фиглярства, паясничанья и шутовства, которому вдруг открывается пресвятая Дева Мария⁹, незримо присутствующая при поединке со смертью. А значит, лирическая слепота порождаема вовсе не эстетической способностью (способностью творить мир), но аффирмативным стремлением к жизнеутверждающему использованию ее плодов позитивным мышлением, подталкивающим к безоговорочной и окончательной резиньяти перед миром, полным страданий и несправедливости.

Итак, необходимо пристальнее всмотреться в различенность эстетического (в купе с разумным) и идеологического и задаться еще одним вопросом: не есть ли не скрываемое ни от кого соучастие эстетической способности в игре оторванного от эмпирии, но ею прельщаемого «чистого разума» «как раз» то самое свидетельство аподиктического и потому не требующего голоса, столь поверхностного, сколь и едва уловимого, молчаливого, практически отсутствующего торжества воображения, в подчинении демонстрирующего свою автономию, не руководящего синтезом, но являющегося им, определяющего лишь *условность* любого нумерального конструкта, условность, которую «чистый разум» предпочел бы от себя скрыть? Кант своим просветительским призывом недвусмысленно дает понять, что априорные условия познания сами по себе суть трансцендентальные идеальности или ничто. Причем не столько без их актуализации патологичной чувственностью (этому требованию весьма трудно не следовать, хотя риторика борьбы с метафизическим догматизмом вынужденно акцентирует внимание главным образом на этом аспекте необходимости созерцания для мысли), сколько вне задействования

⁸ «Держава больше, чем ее границы!» [цит. по: 6, с. 479].

⁹ Художественный фильм «Седьмая печать» И. Бергмана.

нуждающейся в развитии способности суждения, которая и соизмеряется у Канта с умом и, что для нас важнее всего, раскрывается большей частью на художественной тематике творчества. Обнаружение условности, с чем в первую очередь и связан критический потенциал эстетики как философского учения, есть не что иное, как достижение философским разумом метауровня философской истины, всегда, какой бы чистой она не была¹⁰, выражающей чьи-либо интересы. Через дисциплину и ограничение разум вновь обретает свою автономию, получая возможность руководить не только рассудком, но и управлять собой, признавая в качестве ограничивающей сферу своего применения область действительных и возможных созерцаний (не вторит ли этой логике Адорно, обличая ложную оторванность эстетики от эмпирии своей эстетической теорией?) Таким способом отстаиваемый перед всеми возможными романтическими интерпретациями разум разворачивает основу для последующего сопротивления позитивистской зачарованности фактом и здравомыслием, создавая, прежде всего в рамках гегелевской философии, связанной с кантианством крепкими узами преемственности¹¹, законченную *логическую* (а никак не иррациональную) форму своего привилегированного положения по отношению к рассудку.

Условность ноумена – истина самой истины, прозрачная, негативная, наслаивающаяся на свою собственную фактологичность, а потому трудно с ней различимая. Поэтому так важно вновь и вновь осуществлять дистинкцию эстетического и идеологического, ослабляя, если не нейтрализуя полностью, то давление со стороны владеющего истиной рассудка, что испытывает философский разум, который, способствуя рассудочному овладению ситуацией, обманывается возможностью довольствоваться не одной своей негативностью, но располагать совершенно определенным сокровищем. Ведь одно дело, если эстетическое определяется полагающей себя в качестве наличествующей (философской) истиной, а другое – если сама истина соизмеряется с эстетическим и распознается как

¹⁰ «Ни один круг не смыкается чисто. А если чист круг, то тогда чисты и снег, и девственница, и свиньи, Иисус Христос, и Маркс-Энгельс, легкий пепел и тяжкие боли, смех и хохот, рев и плачь, и молчание отдельно, помыслы чисты как снег, и в облатке ни кровинки, гении без выделений, и углы все безупречны, и наивно и беспечно козья ножка чертит круг; чисто все, добро и подлость, человечность и марксизмы, свинство, черти, христианство, соль и хохот, грех и святость, жвачка, слюни и отрыжка, круглота и угловатость и, конечно, чистота. И чисты, конечно, кости, белоснежные их горы, что росли совсем недавно, в стройности пирамидальной, пока не было ворон. Но нечистые вороны, черной тучей налетели, мерзким криком прокричали: не чисты ни круг, ни кости, не чисты земля и небо, не чисты не ад, ни рай! И костей крутые горы, чистоты идей и расы возведенные во имя, мы теперь в кипящих чанах переварим все на мыло, чистое и по дешевке; но и мылом не отмыться до искомой чистоты» [6, с. 362].

¹¹ «Несмотря на свое неприятие кантовской «вещи-в-себе», Гегель тоже не отвергает объективных оснований трансцендентального идеализма. Их удерживает его принцип «посредствования» – реализация духа представляет собой постоянное осуществление движения между разумом и реальностью» [1, с. 510].

эстетический феномен. Одно дело, если речь идет о гуманистической, например, истине (неважно, истине коммунизма или же истине христианской доктрины), страдающей тем же недугом забывания, что и воспеваемый ею предмет, и совсем другое дело, если она вдруг оказывается представлена в качестве истины пугалотворчества, целую эпическую поэму о котором создает литературный гений Гюнтера Грасса¹² на воистину грандиозном, связывающем все времена и эпохи полотне «Собачьих годов». Конечно, такое эстетическое воссоздание истины не снимает вины. А в данном конкретном случае с Гюнтером Грассом оно является самым покаянием как повинностью. Но все же, именно будучи таковым (ибо, как мы помним, ничего чистого не бывает), эта художественная реконструкция не позволяет более недооценивать эстетику, особенно в отношении философского предприятия по отысканию истины. Единство собственно эстетического и (ж)эстетического (с этим пресловутым «а» в качестве приставки, перечеркивающей в отрицании не то, что за ней следует, а саму себя) моментов, держащихся на расстоянии друг от друга в учении о «сущностях и формах прекрасного...» блокируют возможность сколько-нибудь серьезного дискурса об ограниченности так называемого эстетства, которому якобы недоступна этическая составляющая и которому якобы не достает рассудительности. Явно проглядываемый и проглядывающийся пласт живого чувствования в древнегреческом αἰσθησις сводит на нет ложные претензии романтической мысли утвердить эстетическое на недостижимой высоте автономного и непорочного самоаффицирования (взять хотя бы знаменитое ахматовское «Когда б вы знали, из какого сора...»).

Однако и после всех вышеприведенных уточняющих пояснений можно только надеяться, что понимание истины как эстетического феномена не будет превратно истолковано и не приведет опять в бездну иррационализма. Философский дискурс об истине, привыкший к смысловым оперделенностям естественного языка, будет и дальше, конечно, продолжать подталкивать к знакомой и привычной реальности, ущемляющейся в прокрустовом ложе факта. Но реальность, доступная познающему через посредство чувственности или эстетически, как мы хотели бы показать, может быть лишь реальностью *punctum*, но никак не реальностью даровой естественности, фиксируемой тем или иным чувственным анализатором. Аналитически вычлняемая, она также как и в случае с синтетической цельностью обусловлена применением более или менее релевантного инструментария. А значит, чувство не обходится без присутствующей в нем творческой созидательной силы. Вот только то, что она полагает этим бесконечным множеством уколов, распределяющихся по чувствующей плоти и распределенных последней по своей тем

¹² Вот одна знаковая страничка «пугалоожившей истории»: «Факельные шествия. Горят книги. Коричневые мосты. Коричневое как идея. Коричневое доминирует. Ноябрьская картинка: кафтан набитый соломой» [6, с. 685]. «Имеется в виду “хрустальная ночь”, когда сжигались набитые соломой чучела, изображающие евреев» [там же, с.735].

самым оформляющейся поверхностью, есть не что иное, как негативность, подобная смерти. Поэтому вместо выражения «истина эстетического восприятия» вернее было бы заметить, что (художественное) произведение несет в себе вписанную в антропоморфность художественной ткани бесчеловечность, т.е. нечто объективирующееся и опространствующееся.

Литература

1. Маркузе Г. Разум и революция. Гегель и становление социальной теории / Г. Маркузе. – СПб. : Владимир Даль, 2000. – 542 с.
2. Нанси Ж.-Л. Corpus / Ж.-Л. Нанси. – М. : Ad Marginem, 1999. – 256 с.
3. Адорно Т. В. Эстетическая теория / Т. В. Адорно. – М. : Республика, 2001. – 527 с. – (Философия искусства).
4. Кундера М. Жизнь не здесь / М. Кундера ; пер. с чеш. Н. Шульгиной. – СПб. : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2014. – 320 с. – (Азбука-классика).
5. Хайдеггер М. Наука и осмысление / М. Хайдеггер // Хайдеггер М. Время и бытие : статьи и выступления / М. Хайдеггер. – М. : Республика, 1993. – С. 238–253.
6. Грасс Г. Собачьи годы / Г. Грасс ; [пер. с нем. и прим. М. Рудницкого]. – СПб. : Амфора ; ТИД Амфора, 2008. – 736 с.

Воронежский государственный университет

Литвинов М. Ф., кандидат философских наук, доцент кафедры истории философии

E-mail: v-sebe@mail.ru

Тел.: 8-903-857-77-84

Voronezh State University

Litvinov M. F., Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor of the History of Philosophy Department

E-mail: v-sebe@mail.ru

Tel.: 8-903-857-77-84